

Константин РАЙКИН:

«ЛЮДИ СОСКУЧИЛИСЬ ПО КРАСОТЕ»

Можно ли передать на бумаге выражение глаз, потрясающую мимику, тончайшие модуляции голоса, смех, то искрящийся, то изысканный? Наверное, нет. Поэтому беседа с артистом Константином Райкиным — всего лишь отражение, отблеск того мини-спектакля, в котором он был единственным актером, а я — единственным зрителем.



— Константин Аркадьевич, когда вы договаривались о встрече по телефону, вы сказали, что ваш театр для вас — центр Вселенной. Это фигуральное выражение?

— Нет, буквальное. Но вы знаете, что-то рассказывать о нашем театре, объяснять на словах, что мы делаем, бессмысленно. Это надо видеть. И тогда — либо тебе это совершенно не понравится, либо ты хочешь прийти сюда еще.

— Вы считаете, что ваш театр — явление. А как вы могли бы его охарактеризовать?

— Не знаю. Дело искусствоведов — давать определения. Любопытен же наш театр хотя бы тем, что сюда невозможно попасть, здесь аншлаги каждый день, здесь сносятся двери и т. п. Несмотря на то, что у нас дорогие билеты, театр находится не в театральном районе и у нас огромный зал. И не всегда играет Райкин, а большей частью не играет. То есть никаких внешних причин для объяснения столь большого интереса вроде бы как нет. И уже поэтому «Сатирикон» заслуживает внимания. Что бы у нас не было, нужно быть театральным критиком. Критики в абсолютном большинстве — люди, не отличающиеся хорошим от плохого. Они привыкли знать, а не чувствовать. Поэтому они могут хвалить лишь хвалебное.

— Может быть, этим грешат не только критики, но и простые смертные?

— Нет, они-то как раз отличаются. Иначе к нам бы не ходило такое количество людей на фоне общего упадка интереса к театру. К нам приходит нормальный зритель, у которого труднее всего иметь успех. Легче — у критиков и журналистов.

— А что такое нормальный зритель?

— Нормальный? Это уставший после работы, работы, как правило, далеко не творческой. Это люди, далекие по роду своей деятельности от искусства, но ощущающие в нем духовную потребность.

— Вы сказали, что в вашем театре дорогие билеты. Сколько же они стоят?

— Ну, к примеру, на наш совместный с Театром Антона Чехова «Сирано де Бержерак» билеты будут стоить 30 рублей.

— А почему у вас такие дорогие билеты?

— Спрос большой. Да и денег нужно больше.

— Значит, это своего рода коммерция?

— Конечно. Хотя только на эти деньги театру все равно не прожить. У нас есть спонсоры, но мне бы не хотелось называть их имен.

— Следовательно, финансовых проблем у «Сатирикона» не существует?

— Они, безусловно, есть, но пока нам удается их решать. Ну, а что будет дальше...

— Скажите, в вашем театре есть «звезды», кроме вас?

— Вообще-то нет. Правда, в спектакле Театра Антона Чехова «Там же, тогда же», который идет на сцене «Сатирикона», я играю с Татьяной Васильевой и Любовью Полищук. И на спектакль не поспать. Но дело не в «звездах», сейчас и на них не ходят. Просто спектакль хороший.

— Да, я видела отрывки из него по телевизору...

— Ну что вы говорите?! Какое телевидение! Это же другой вид искусства. Это совсем не то. С таким же успехом можно сказать: «Я видел левую грудь Венеры Милосской или я читал отрывки из «Войны и мира»,

или Рабинович — мне изобразил, как поет Карузо».

— Принимаю ваш упрек. Но если оставить в стороне театр, для большинства людей — ведь не все же живут в Москве и могут посмотреть ваши спектакли — вы прежде всего известны и любимы по кинолентам. Что значит кино в вашей жизни?

— Я очень люблю кино как зритель, но в профессиональном смысле оно практически ничего для меня не значит. Я — театальный артист, и это для меня главное. Я вообще мало снимаюсь, и кино никогда не было моей любовью. По 15 лет не снимался, бывали такие периоды. Когда меня не снимали как некрасивого, как еврея, как вообще не соответствующего представлению о советском человеке. Ну и ничего. Я массу всего делал в театре и никогда не страдал по поводу отсутствия кинолент. А потом, если говорить про отечественное кино в том виде, в котором оно сейчас существует, я не могу сказать, что безумно им интересуюсь.

— То есть стремления стать киноактером у вас никогда не было?

— Нет. Хотелось сниматься, когда предлагали что-то интересное, а это случалось нечасто. Кинорежиссеры зачастую люди довольно поверхностные. Они плохо представляют, что в театрах творится, да и вообще артистов мало знают. Почему постоянно снимают одних и тех же и, как правило, не самых лучших? Потому что они в привычном наборе, ближе к кинематографу находятся. Чтобы пригласили сниматься, нужно почтнее прохаживаться по коридорам «Мосфильма». Это именно так и делается.

— И вас так пригласили?

— Нет, меня пригласили как сына Аркадия Райкина.

Это тоже красивый способ.

— А есть роли в кино, которые вам нравятся?

— Да, есть. Например, «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это, пожалуй, лучший фильм, в котором я снимался и который люблю. Все остальное вызывает чувство большей или меньшей досады. Потому что это гораздо меньше, чем я умею. Я, знаете, как завод тяжелого машиностроения, о котором судят по кастрюлям, составляющим его побочное производство.

— Как вы относитесь к своей работе в фильме Михаила Козакова «Тень или. Может быть, все обойдется»? На мой взгляд, исполняя в нем две антиподные роли — Ученого и его Тени, вы достигли определенной философской глубины. Да и извечная тема борьбы добра со злом в нашем обществе, наверное, воспринимается более чем обостренно, чем где бы то ни было.

— Шварц — один из моих любимых авторов, и я снимался в этом фильме с большим интересом. Но... Понимаете, я, как артист, взрослее того, чтобы приходить в восторг от того, что именно я играю главную роль. Мне хочется, чтобы все, в чем я принимаю участие, было хорошо и совершенно. Меня интересует, как выглядит весь фильм или спектакль. Козаков я очень люблю, и он творческий человек, бесспорно. Но мне кажется, что этот фильм — недостаточная его удача. А раз так, то и у меня ощущение легкой досады.

— И вы настолько лишены тщеславия, что, поскольку, на ваш взгляд, фильм не совсем удачен, то и своей работой довольны?

— Вы понимаете, если бы этот фильм с другой энергетикой был сделан... По моему, он пресловатый. Мне ка-

жется, что сегодня в нашей стране в нынешней ситуации и кино, и театр, и все искусство должны быть более атакующими, более энергичными. Не агрессивными, агрессив и за окном хватает, а атакующими милосердием, красотой, добром. И пьеса Шварца давала возможность все это показать, но, на мой взгляд, это не совсем получилось. А потому что за смысл говорить о моей роли?

— Вы сказали, что достигли той степени развития таланта...

— Я такого не говорил. Ну как поспеть за полетом журналистской фантазии? Недавно я дал краткое интервью одной газете и не проверил. И что? Там написали, что я якобы сказал: «Трудно жить с одаренными людьми, поэтому моей жене нелегко». Всерьез я такого сказать не мог. Я даже свою работу никогда творчеством не называю! Другое дело, что я думаю о себе и о своей работе. Но сказать подобное вслух!

— Ну, хорошо. Пусть ваша работа не творчество, пусть у вас нет таланта...

— Нет, пусть он имеется! Но так говорить о себе — безвкусно.

— Ладно, скажем так, ваш опыт, ваш профессионализм заставляют вас видеть фильм или спектакль в целом, не ограничиваясь своей ролью. Может, это происходит оттого, что вы — художественный руководитель театра?

— Наоборот, я — художественный руководитель театра поэтом. Мне всегда было не все равно, в чем я принимаю участие. Я не хочу участвовать в чем-то безвкусном, безыдейном. Не желаю быть всего лишь стеклышком в мозаике, которая представляет собой некое слово. Я должен знать, какая я пережидка в какой буре и в каком слове. Не люблю, когда обманывают артистов, говоря, что они играют одно, а на деле выходит другое. Мне так не нравится.

— Вы любите осознавать?

— Да, безусловно.

— Вероятно, чтобы иметь свободу выбора? А вообще вы свободный человек?

— Больше да, чем нет. И, по правде говоря, я никогда не чувствовал себя особенно не свободным. Свобода — она в большей степени внутри нас. Поэтому я не очень верю людям, которые говорят, что у них что-то в искусстве не получалось, потому что их зажимали. Это попытка самооправдания. Ведь ни один плохой театр не признает, что он плохой. Поэтому говорят про то, что времена тяжелые, есть нечего и из-за этого люди не ходят в театр. Ерунда! Люди не потому не ходят, что есть нечего, а потому, что театр неинтересный. А отсутствие пищи — не повод не ходить в театр. На хорошее всегда ходили. Если талантливо, интересно, будут смотреть в любых условиях. Поэтому глупо говорить, что сначала нужно накормить народ, а потом уже поднимать его культуру. Это надо делать одновременно. Демократия без культуры — это страшно. Культура так же необходима, как хлеб, тепло, и отсутствие ее так же опасно. То, что мы имеем сегодня в Карабахе и других горячих регионах, и есть результат демонстрации без культуры. Когда люди не знают, что делать со свободой, и понимают ее как свободу грабить, убивать, насиловать, хамить.

И для искусства свобода — не меньшая проверка, чем существование в условиях тоталитаризма. То, что казалось искусством вчера, взяли

(Окончание на 11-й стр.).

«ЛЮДИ СОСКУЧИЛИСЬ ПО КРАСОТЕ»

(Окончание. Начало
на 9-й стр.).

на себя газеты, телевидение, и сейчас у искусства другие задачи.

Я всегда занимался любимым делом и в этом смысле всегда был свободен, я работал много и влюбленно. Человек влюбляется и при фашизме, и при демократии. И счастливы своею любовью. У меня всегда это было.

— Вы считаете, что, несмотря на нелегкие времена, которые мы переживаем, проблемы неустраиваемости искусства не существует? Кстати, Михаил Козаков свой отъезд из страны объяснял в первую очередь тем, что искусство здесь сегодня не нужно.

— Это психотерапия. Я не согласен. И думаю, что вернется. Потому что здесь он нужнее, чем там. А родина там, где ты нужен. Для меня вопрос отъезда не стоит.

— Это означает, что вы никогда не уедете?

— Нет, если только не начнут уюивать. Я думаю, что миша в первую очередь из-за сына уехал. Я свою дочь люблю не меньше и понимаю: она не виновата, что родилась в такой ужасной стране, которая, по несчастью, является моей самой любимой страной. Потому что здесь я нужнее, чем где бы то ни было. Потому что в другом месте нет такой роли «Костя Райкин». А в нашей уродливой пьесе такая роль есть: я говорю, и в этот момент все молчат. Я знаю, если я не приду на работу, все хватятся: «Что делать? Как же мы теперь будем?» А в любом инном месте такое вряд ли будет.

Знаете, для моего замалования с детства самая ужасная ситуация, когда тебя не надо, а ты есть. Начиная с самых житейских коллизий. Бывают такие бестактные люди — двое разговаривают, надо уйти, а он сидит. Вот я, мне кажется, болезненно тактичный человек. Я уйду гораздо раньше, чем меня будет не надо.

— Вы боитесь быть лишним?

— Это самое унижающее. Положим, приеду я куда-нибудь. «Ну, ладно, — скажут. — Раз уж приехал, будем что-то думать, как-то обустроить». Все правы, кто уезжает, и все, кто остается. Я понимаю, когда уезжают такие люди, как Ростропович... Или люди, не имеющие творческих притязаний, живущие сугубо утилитарной жизнью. Они просто хотят лучшей квартиры, лучшей еды, лучшего вида за окном. Наконец, хотят видеть что-нибудь сделанное с любовью. И это нормально.

Ведь в нашей жизни нет любви, все сделано нелюбящими руками: асфальт положен, деревья посажены, обои приклеены. Бог отвернулся

от нашей страны, и нет любви ни в чем...

Поэтому театр — особое место. Это оазис духовности, люди здесь занимаются любимым делом. Хотя и здесь все те же болезни, что и на улице, отражены, как в капле воды.

— Как вы думаете, любовь можно возродить? Как это произойдет — как чудо?

— Нет, как чудо это не будет. Это надо вырастить. Любовь Бога надо заслужить. Наши беды не зря. Мы в Бога перестали верить... Все, что с нами случилось, прекрасно Булгаков описал в «Мастере и Маргарите». Общество ли целое, человек ли отдельный — лишённые веры гибнут. Наше общество построено на крови людей и на обломках веры. Это самый ужасный грех за всю историю человечества. И за это нам расплата. Но это пройдет обязательно. Страна, где была величайшая культура, творили такие гении, не может безвозвратно погибнуть.

— Константин Аркадьевич, вы сын великого артиста Аркадия Райкина. Помогало это вам в жизни или мешало?

— Конечно, помогало. Зачем же я буду говорить, что это не так? Я не стал бы художественным руководителем «Сатирикона», если бы не отец, это же очевидно. Я пришел в театр по его зову, чтобы продолжить его дело.

— То есть он вам театр как корону передал?

— Как корону звучит слишком высокопарно. Он передал мне дело, очень тяжелое и ответственное. Я до этого 10 лет работал в «Современнике», преподавал и уже был какой-то самостоятельной величиной, не мне судить, большой или малой. Но отец увидел во мне какую-то возможность. И здесь, в этом театре, я пользовался определенной свободой, поскольку был его сыном, и тут нечего скрывать. Другой вопрос: повезло театру, что именно я стал его художественным руководителем, или нет?

— А вы сами как считаете?

— Если бы я считал, что не повезло, то ушел бы. Я — артист, и командовать — отнюдь не мое любимое занятие.

— А в чем все-таки вам мешала ваша громкая фамилия?

— Для большинства людей я и умру сыном Райкина. И сравнивают меня с ним постоянно. И нет ни одной работы, после которой я не получил бы письма: «Вы позорите имя своего отца. Он себе никогда бы такого не позволил...»

— Вам бы хотелось затмить славу своего отца?

— Не та цель. Это в 18 лет кипит мальчишеское честолюбие, лестно, когда тебя узнают, тычут пальцами. А

с возрастом приходишь к более объемному восприятию мира, и, соответственно, меняются и ценностные ориентиры.

— Аркадий Райкин был зачинателем сатирического жанра в нашей эстраде. Он смеялся над нашими пороками, бичевал их, но его смех был добрый. Это был смех Гоголя. Сейчас смех стал более злым, это, скорее, щедринский смех. Хотя с тоталитаризмом вроде как покончено.

— Злой смех, добрый — это трудно разделить. Что, Салтыков-Щедрин не любил свою страну? Любил. Просто Гоголь — больше чем сатирик, он поэтичнее, выше. Сатира — вообще не самый высокий жанр.

Папа был великий артист, и поэтому он «взлетал» с такой, как правило, средней литературой. Дело именно в том, как он это делал, а не что он говорил. В то время сатира была ведь довольно примитивной. Назвать черное черным уже было актом гражданского мужества.

Сейчас сатира должна исследовать происхождение порока, то, чего не может в полной мере делать та же журналистика. Ведь она занимается назывательной сатирой, а у искусства — иные задачи. Поэтому, мне кажется, нужно ставить Гоголя, Достоевского, Шекспира, Мольера. Они уже все про человека сказали. Меня лично не интересуют политические аллюзии. Что сегодня можно сказать такого острого, чтобы все ахнули?

— А как вы относитесь к артистам, работающим в сатирическом жанре, ведь их сейчас немало?

— Я люблю Геннадия Хазанова, но опять же потому, что он замечательный артист. Он и успех такой имеет вовсе не из-за текстов, которые произносит, а потому, как он это делает... Я Романа Карцева люблю тоже, потому что он удивительный артист. Важно прежде всего, как сыграно, это может быть вообще без слов. А текстовой юмор на сцене — свидетельство профессиональной помощи артиста.

— Не кажется ли вам, что в своем разрушительстве мы сметаем даже то, что неплохо было бы и оставить?

— То, что сегодня происходит, — реакция на прошлое. Хотя и тогда были и вдохновение, и победы какие-то, и спектакли хорошие. Безусловно, и идиотизма было больше, спектакли уродовали до неузнаваемости или вовсе запрещали. Правда, сейчас хороших постановок стало меньше. Но это нормально. Не надо паниковать: «Ах, кризис театра!» Понимаете, ведь как было. Актеры и зрители словно в двух разных камерах сидели и переступивались, частично меняя шифр, потому что «охранка» все время его разгадывала. И артисты радовались, когда зрители понимали их тройной эзоповский язык: «Ай, поняли, поняли!» И это было главным.

Теперь стены разрушили и сказали: «Летайте!» Какое «летайте»?! Когда в камере жили, крылья-то атрофировались, забыли, что такое настоящее искусство. Сейчас театр должен измениться. Умер театр бытовых историй. Нужен театр энергии, энергии добра, надежды и радости. Люди по красоте соскучились. Не красиво ведь все...

Беседу вел
Светлана ЛОЛАЕВА
(«ДМ»).